

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Повесть эта написана зимой 1830 года*, в трехстах
лье от Парижа, а потому, разумеется, в ней нет ни
единого намека на события текущего 1839 года.

За много лет до того, когда наши армии проходили
по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме
одного каноника. Это было в Падуе, счастливом городе
Италии. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы
с ним стали друзьями.

В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я по-
спешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет
в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную,
где я провел столько приятных вечеров, о которых
часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил
теперь племянник покойного с женой; они встретили
меня как старого друга. Собралось еще несколько че-
ловек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племян-
ник каноника приказал принести из кофейни Педротти
превосходного *zambaione*. Засиделись мы главным об-
разом, слушая историю герцогини Сансеверина: кто-
то из гостей упомянул о ней, а хозяин, в угоду мне,
рассказал ее всю полностью.

— В той стране, куда я еду, — сказал я своим друзь-
ям, — не найти такого общества, как у вас, и, чтобы
скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе
этой истории повесть.

— В таком случае, — сказал племянник канони-
ка, — я принесу вам сейчас записки моего дядюшки,
где в главе, посвященной Парме, он говорит о неко-
торых интригах при пармском дворе, происходивших

в те времена, когда герцогиня полновластно царила там. Но берегитесь! В этой истории мораль хромает, и теперь, когда у вас, во Франции, мода на евангельскую непорочность, — она может составить вам убийственную славу.

Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.

Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня — итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодущны и не боязливы, — говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь приступами, но тогда оно становится страстью, именуемой *rip-tiglio*. И, наконец, они не смеются над бедностью.

Вторая неприятность касается автора. Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров; но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем придавать им высокую нравственность и обаятельные качества наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, совсем на них не похожи. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.

23 января 1839 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Gla mi fur dolci inviti
a empir le carte
I luoghi ameni.

*Ariosto, Sat. IV**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая прошла мост у Лоди*, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, которым Италия стала свидетельницей, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ: еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, — так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходявшая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В Средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины*. Став верноподданными*, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе поклонника, — иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные неожиданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года весь народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением.

Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия»* и Вольтер* взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, — совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину*, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозой, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.

В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, и они охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Распущенность достигла крайних пределов, но страсти были явлением редкостным. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом гибели даже в здешнем мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии — мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом — торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с ар-

мией молодой рисовальщик-миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро*, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. И вот художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови потоком хлынула пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем незнакомо в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь сделали с него гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию вторгнулась такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян стонали от тяжести шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра и до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался старейшиной армии. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были таким приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы — изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы, — недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюка-

ли на руках хозяйских ребятишек, и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший пиликать на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены, зато итальянки научили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по мере возможности расквартировали по богатым домам; им очень нужно было подкрепить свои силы. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, молодой ополченец и человек довольно бойкий, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще так кстати не приходилась человеку эта часть одежды. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расплзлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также взятой на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были весьма заметно привязаны к башмакам веревочками, и, когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откусать с маркизой дель Донго, бедняга почувствовал убийственное смущение. Вместе со своим вольтижером он провел два часа, оставшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец грозная минута настала.

«Еще никогда в жизни не был я так смущен, — говорил мне лейтенант Робер. — Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти

в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски-кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела картина „Иродиада“ Леонардо да Винчи*, — казалось, это был ее портрет. И вот меня, по счастью, так поразила эта сверхъестественная красота, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев и камердинеров, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в хорошие башмаки да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза, надо вам сказать, в тот день „для храбрости“, как она сто раз мне потом объясняла, взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго, — впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни превратностей.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид — восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпеливую досаду. Словом, я представлял собою нелепую фигуру; я должен был сносить презрение — дело для

француза невозможное. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы пострадали за два года в гемуэзских горах, где нас держали старые дураки-генералы. Там давали нам, говорил я, три унции* хлеба в день и жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не прошло и двух минут, как я заговорил об этом, а у доброй маркизы уже слезы заблестели на глазах, и Джина тоже стала серьезной.

— Как, господин лейтенант? — переспросила она. — Три унции хлеба?

— Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не перепало, и, так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.

Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, единственное свое шестифранковое экю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

Неделю спустя, — продолжал свой рассказ лейтенант Робер, — когда совершенно ясно стало, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равносильна его страху — то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя* сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».

История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посме-

яться над нищетой этих удалыцов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора неожиданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого рассуждения: этот народ скучал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца*, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но, начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано*, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвенье всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старики нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции для французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. Замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, и из окон его видна большая часть озера. Это был родовой

замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; от тех времен, когда он служил крепостью, в нем сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотой в восемьдесят футов и толщиной в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью — тридцатью лакеями, которых он считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их руганью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали casa del Dongo, как говорят в Италии, — стараться уменьшить их, что заставляло ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также и с лицами незнатными, но весьма влиятельными. В семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и высокородного; но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок — вышла замуж за графа Пьетранера. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был сублейтенантом Итальянского легиона*, что усугубляло негодование маркиза.

Прошли два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория*, разыгрывая роль прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бесталанные генералы, которыми она наградила Итальянскую армию, проигрывали битву за битвой в тех самых Веронских долинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, свершенных при Арколе и Лонато*. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови*. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией в простой тележке.

Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев), потому что, на их счастье, это вернувшееся мракобесие действительно продлилось только тринадцать месяцев — до сражения при Маренго*. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамелюками*, — участь, заслуженная им по многим причинам.

Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз дель Донго. Неистовство, вполне естественно, поставило его во главе партии реакции. Члены этой партии люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Он был человеком довольно благодушным, но, поддавшись их угворам, решил, что суровость — самая искусная поли-

тика, и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии.

Вскоре их сослали в бухты Катарро*, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное голод, быстро расправились с этими «негодьями».

Маркиз дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скарედность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетранера: она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, вместе с ним умирала с голоду во Франции. Добрая маркиза дель Донго была в отчаянии; наконец ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который ее супруг отбирал у нее каждый вечер и запирали в кованный сундук, стоявший под его кроватью; маркиза принесла мужу в приданое восемьсот тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы восемьдесят франков. Все тринадцать месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги.

Признаемся, что, по примеру многих солидных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге не кто иной, как Фабрицио Вальсерра *marchesino*¹ дель Донго, как говорят в Милане. Он родился как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном г-на маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового со-

¹ Произносится «маркезино». По местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза; «континно» — сыновьям графа, «контесина» — дочерям графа и т. д. — *Прим. автора.*

стояния дель Донго являлся старший сын маркиза, Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио — два года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, нежданно-негаданно перешел Сенбернарский перевал и вступил в Милан, — еще один исключительный момент в истории: вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Опьянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести: этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие «в бухтах Катарро» патриоты; возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, исхудалые узники, с большими удивленными глазами, представляли собою странный контраст ликованию, гремевшему вокруг них. Для наиболее запятнанных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркиз дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после взятия Маренго стали устраивать в Casa Tanzi¹. Через несколько дней после победы французский генерал, на которого возложена была обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе при Маренго, изменившей судьбу Италии и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей, — все поглощены пророчеством святого Дживиты, главного покровителя Брешии. Это священное прорицание гласило, что благоденствию Наполеона и французов настанет конец

¹ В Бальном дворце.

ровно через тринадцать недель после Маренго. В оправдание маркиза дель Донго и других злобствовавших владельцев поместий надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через тринадцать недель; но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва плохо поняли предсказание святого покровителя Брешии: речь шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало.

Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и ничему не учился, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являющемуся шедевром художников XVII века, — это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа дозволение съездить в Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки, — деньгами ее ссужала невестка, добрая графиня Пьетранера. После возвращения французов

графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения*, вице-короля Италии.

Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольной ссылке, дозволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умный мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность; она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в ученье и получит к концу года награды. Вероятно, для того чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии, были, однако, изгнаны из страны* по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всемогущей придворной дамой. Он не осмеливался жаловаться на отлучки Фабрицио, и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетранера, в сопровождении своего супруга, дивизионного гвардейского генерала, и пяти-шести сановных особ из свиты вице-короля, посетила коллегию иезуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства.

Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарские офицеры, и он в двенадцать лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная миловидностью своего племянника, попросила принца назначить его пажом, что означало бы примирение семейства дель Донго с новой властью. На следующий день графине

понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости — согласия отца будущего пажа, но в согласии, несомненно, было бы отказано, и очень бурно. «Дикая выходка» сестры всполошила фрондирующего маркиза дель Донго, и он, под благовидным предлогом, вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, требуя прислать к ней племянника; письмо ее осталось без ответа.

Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в уменье ездить верхом, — граф Пьетранера, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады.

Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расставании с тетюшкой и ее великолепными гостиными, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперся в своем кабинете со старшим сыном маркезино Асканьо: они сочиняли шифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену; отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего «законного преемника», как вести двойные счетные записи доходов, получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже с сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканьо для шифровки депеш в пятнадцать-двадцать страниц каждая, которые посылали два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркиз воображал, что он знакомит своих законных государей с внутренним положением Итальянского королевства, и, хотя это поло-

жение было совсем неведомо ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему. Маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, менявшего гарнизон, и в своем донесении венскому двору старался по крайней мере на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать преглупые, отличались одним достоинством: они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту камергерский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного королевского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши иначе, как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху.

Маркиза пришла в восторг от миловидности младшего своего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу графу д'А***, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, маркиза совершенно не могла. Расспросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством.

«Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно, нашел бы, что у него совсем нет образования, а ведь теперь оно необходимо», — думала она.

Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицио: он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподанным ему иезуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая набожность мальчика испугала ее: «Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына». Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицио оттого лишь возросла.

Жизнь в замке, где сновали тридцать-сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами; все они были ярыми приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, приставленными к особе маркиза или старшего его сына. Главной темой насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы по примеру господ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Когда нам Веспер* тьмой застелет небосклон,
Смотрю я в небеса, грядущим увлечен:
В них пишет бог — путем понятных начертаний —
Уделы и судьбу живущих всех созданий.
Порой на смертного он снизойдет взглянуть
И, сжалившись, с небес ему укажет путь.
Светилами небес — своими письменами —
Предскажет радость, скорбь и все, что будет с нами.
Но люди — меж смертей и тяжких дел земных, —
Презревши знаки те, не прочитают их.

*Ронсар*¹

Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, — говорил он, — погубили Италию»; он недоумевал, как согласовать этот священный ужас перед знанием с необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им в коллегии иезуитов. Самым безопасным он счел поручить аббату Бланесу, священнику гриантской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио латыни. Но для этого надо было, чтоб старик сам ее знал, а как раз он относился к ней с презрением, и познания его в латинском языке ограничивались тем, что он читал наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разьяснить их смысл своей пастве. Тем не менее

¹ Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник.

аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе: он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джiovиты, покровителя Брешии, исполнится вовсе не через тринадцать недель и даже не через тринадцать месяцев. Беседа об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число тринадцать следует толковать совсем иначе, и многие весьма удивились бы, если бы только можно было все говорить без утайки (1813)!

Дело в том, что аббат Бланес, человек честный, поистине добродетельный и по существу неглупый, проводил все ночи на колокольне: он помешался на астрологии. Весь день он занимался сложными математическими выкладками, устанавливая различные сочетания и взаимоположение звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением в небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом — подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империй, а также сроков революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади, — говорил он Фабрицио, — с тех пор как меня научили, что по-латински она называется equus?»

Крестьяне боялись аббата Бланеса, считая его великим колдуном; он не возражал против этого: страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата Бланеса, завидуя его влиянию на прихожан, ненавидели его; маркиз дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека столь низкого положения. Фабрицио боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа. Затем он поднимался на колокольню, — это была большая честь, которую аббат Бланес никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, — говорил он Фабрицио, — то, пожалуй, будешь настоящим человеком».

Раза два-три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех героических экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Каденабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят переметы далеко от берега. К верхнему концу лесы у них привязана дощечка, обтянутая снизу пробкой, а на дощечке укреплен гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба попадет на крючок и дергает лесу.

Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные переметы, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодке за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности, — это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух *Ave Maria*. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тотчас же вслед за молитвой, Фабрицио бывал озадачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось единственным плодом его участия в астрологических занятиях аббата Бланеса, хотя он несколько не верил предсказаниям своего друга. По прихоти юной фантазии Фабрицио приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, мало-помалу товарищи привыкли слушаться его прорицаний; и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи, и все отправлялись по домам, в постель. Итак, аббат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке — астрологии, но, неведомо для себя, внушил ему беспредельную веру в предзнаменования.

Маркиз понимал, что из-за какой-нибудь неприятной случайности, касающейся его зашифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры, и поэтому ежегодно ко дню святой Анджелы, то есть к именинам графини Пьетранера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такого путешествия, дозволяемого в важных политических целях, маркиз давал сыну четыре эку и, по обычаю своему, ничего не давал жене, всегда сопровождавшей Фабрицио. Но накануне поездки отправляли через город Комо повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркизы была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон.

Образ жизни злобствующего маркиза дель Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые решались вести его, основательно обогащались. У маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил и четверти этой суммы, — он жил надеждами. Целых тринадцать лет, с 1800 по 1813 год, он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине*. От вестей о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть с ума не сошел; тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И наконец, после четырнадцати лет ожидания, ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению, полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза дель Донго с великой учтивостью, граничившей с почтением; тотчас же ему предложили один из главных административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное ему звание кадета. Триумф, которым

маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился лишь несколько месяцев, а за ним последовали унижительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было талантов государственного деятеля, а четырнадцать лет деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Однако в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старой монархии. Промахи маркиза дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ярого монархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность второго помощника главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства*. Маркиз был возмущен, счел себя жертвой жестокой несправедливости и даже напечатал «Письмо к другу», несмотря на то, что яро ненавидел свободу печати. Наконец, он написал императору, что все его министры — предатели, ибо все они — якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительное известие. После падения Наполеона, стараниями могущественных в Милане людей, на улице убили графа Прину, бывшего министра итальянского короля и человека весьма достойного. Граф Пьетранера, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетчатую дверь церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в канаву посреди улицы; но священник издеватель-

ски отказался открыть решетку, и за это маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение.

Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетранера, не имея даже пятидесяти луидоров дохода, осмеливался чувствовать себя довольным да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь, и, невзирая на лица, дерзко проповедовал дух справедливости, который маркиз называл якобинской мерзостью. Граф отказался вступить в австрийскую армию; этот отказ получил должную оценку, и через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения в тюрьму генерала Пьетранера. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и высказать всю правду императору. Убийцы Прины трусили, и один из них, двоюродный брат г-жи Пьетранера, принес ей в полночь, за час до ее выезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетранера, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна*, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прина и заключением в тюрьму графа Пьетранера.

После этой грозы, которую отвратила твердость характера графини Пьетранера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна.

К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также задушевым другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре Ла Скала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте

с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший в армии под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской республики*. Граф дал ему пощечину; тотчас же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, принимавшие в нем участие, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии.

То нелепое мужество, которое называют смирением, — мужество глупцов, готовых беспрекословно пойти на виселицу, совсем не было свойственно графине Пьетранера. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование; она пожелала, чтобы Лимеркати — тот богатый молодой человек, который был ее другом, — тоже возымел бы фантазию отправиться в путешествие, разыскал бы в Швейцарии убийцу графа Пьетранера и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной.

Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она усилила внимание к Лимеркати — ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того, чтобы французам был понятен такой замысел мести, скажу, что в Ломбардии, стране, довольно далеко отстоящей от Франции, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетранера, даже в глубоком трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н***, всегда говоривший, что достоинства Лимеркати немного тяжеловесны, немного грубоваты для такой умной женщины, страстно влюбился в нее. Тогда она написала Лимеркати:

«Не можете ли Вы хоть раз в жизни поступить как умный человек? Вообразите, что Вы никогда не были со мной знакомы.

*Прошу принять уверения в некотором презрении к Вам.
Ваша покорная слуга Джина Пьетранера».*

Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий; любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб, — намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Прибыв в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н***. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях; каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н*** она погубит себя, что такая связь ее позорит.

На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н*** и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н***, будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она сооблаговолила ему сообщить.

— Будьте милостивы, — добавил он, — принимайте меня, выказывая мне по-прежнему все те знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда займу подобающее место.

После столь героического объяснения графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н***. Но за пятнадцать лет она привыкла к жизни самой изнеженной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее неразрешимую, задачу: жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на пятом этаже, разочла всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой поденщицей. Такая жертва была в сущности менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам: в Милане над бедностью не смеются, а следовательно, она и не страшит, как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности; ее постоянно бомбардировали письмами и Лимеркати

и даже граф Н***, тоже мечтавший теперь жениться на ней; но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как! Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его!

Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго. Переменчивая душа Джини с восторгом приняла мысль о новом образе жизни; уже двадцать лет не бывала графиня в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой, — говорила она себе. — А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем? (Графине пошел тридцать второй год, и она полагала, что ей пора в отставку.) На берегу чудесного озера, где я родилась, я обрету наконец счастливую, мирную жизнь».

Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такою легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы себя не помнили от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости, — говорила, целуя ее, маркиза. — А накануне твоего приезда мне было сто лет!» Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками: виллу Мельци на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рошу Сфондрата, расположенную выше по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава: один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Лекко меж утрюмых скал, — всё величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире — Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспо-

минания ранней юности, и сравнивала их с новыми своими впечатлениями. «На берегах Комо, — думала она, — нет широких полей, какие видишь вокруг Женевского озера, нет тучных нив, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон поднимаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в *статью дохода*. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегаящих к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо* и Ариосто*. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рошицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и, право же, лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая, суровая картина, напоминая о пережитых горестях, увеличивает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями, звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: «Жизнь бежит, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им».

То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность шестнадцатилетней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни

разу не приехав посмотреть на это озеро. «Неужели, — думала она, — счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку; Фабрицио, маркиза и сама г-жа Пьетранера собственными своими руками разукрасили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь: со времени своей опалы маркиз дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в десять шагов шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал устроить плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне этой модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков.

Старший брат Фабрицио, маркезино Асканьо, вздумал было принимать участие в прогулках женской половины дома, но тетка брызгала водой на его напудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную, пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки.

Асканьо поклялся отомстить Фабрицио.

Однажды поднялась буря, и лодка едва не перевернулась; хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу: и без того он был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю, — на этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны: из двух горных ущелий, расположенных на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде.

В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера; она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище: она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта; но, выпрыгнув из лодки, она упала в воду, Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но сучка, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня любила простодушного старика Бланеса и страстно увлекалась астрологией. Деньги, оставшиеся от покупки лодки, все ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа; и почти каждый вечер графиня, взяв с собою племянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио выпадала роль ученого в этой компании, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов.

Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погружившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день после таких приступов тоски она смеялась по-прежнему; обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру на-талкивали сетования маркизы, ее невестки:

— Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке?! — восклицала маркиза.

До приезда графини у нее не доставало смелости даже подумать об этом.

Так прошли зимние месяцы 1814—1815 годов. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан: нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано*, которые давали в театре Ла Скала; и маркиз не запрещал жене сопровождать

золовку. В Милане бедная вдова генерала Цизальпинской республики, получив пенсию за три месяца, дала богатейшей маркизе дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны; дамы приглашали на обед старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, заставляла их забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома.

7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул осведомитель маркиза: Наполеон только что высадился в бухте Жуан*. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно несколько не поразило; он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов и еще раз заявил, что министры его величества — якобинцы, орудующие в сговоре с парижскими смутьянами.

8 марта, в 6 часов утра, маркиз, надев камергерский мундир со всеми регалиями, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио, велел доложить о себе, входил в комнату графини Пьетранера.

— Я уезжаю, — сказал он. — Я хочу присоединиться к императору, — ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу! Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью мой друг Вази, — тот, что торгует в Менаджио барометрами, — дал мне свой паспорт; дай мне несколько наполеондоров, — у

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие автора	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
Глава первая	7
Глава вторая	22
Глава третья	44
Глава четвертая	62
Глава пятая	83
Глава шестая	106
Глава седьмая	148
Глава восьмая	168
Глава девятая	184
Глава десятая	193
Глава одиннадцатая	201
Глава двенадцатая	225
Глава тринадцатая	240
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Глава четырнадцатая	267
Глава пятнадцатая	288
Глава шестнадцатая	305
Глава семнадцатая	321
Глава восемнадцатая	336
Глава девятнадцатая	355
Глава двадцатая	372
Глава двадцать первая	397
Глава двадцать вторая	418
Глава двадцать третья	437
Глава двадцать четвертая	459
Глава двадцать пятая	479
Глава двадцать шестая	500
Глава двадцать седьмая	516
Глава двадцать восьмая	531
Примечания. <i>II. Росси</i>	550

Литературно-художественное издание

СТЕНДАЛЬ
ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Ответственная за выпуск Галина Соловьева
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Алексея Соколова
Корректоры Людмила Ни, Татьяна Никонова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 06.07.2017. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 24,6. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.pf
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-15488-03-R